

ЖУРНАЛ
КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

1994 Выпуск II

ОСНОВАН В АПРЕЛЕ 1957 ГОДА

Учредители: Институт мировой литературы А. М. Горького РАН,
Фонд «Литературная мысль»

СОДЕРЖАНИЕ

XX ВЕК: ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. ЖИЗНЬ

- 3 **Д. ПЭН.** Двойничество в русской советской лирике 1960—1980-х
- 30 **Е. ТРОФИМОВА.** Советская женщина 80-х годов: автопортрет в поэзии
- 45 **Б. САРНОВ.** Развивая традиции Прокруста (Михаил Зощенко и его редакторы)

ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 92 **П. ГАЙДЕНКО.** Человек и человечество в учении В. С. Соловьева.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

- 105 **А. ПАЙМАН.** «Пошли упорство верить и стремиться...». Беседа вела Е. Иванова
- 117 **М. КОСТАЛЕВСКАЯ.** Дуэт — дуэль («Моцарт и Сальери» Пушкина)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 129 **М. ЛАНДОР.** Почему Хемингуэй и Фолкнер не приехали к нам?

- 145 **Л. БАБИЧЕНКО.** Как в Коминтерне и ведомстве Жданова выправляли «Интернациональную литературу»
- 156 Сострадательное участие (Из литературно-критического наследия А. Карельского) *Вступительная статья и публикация О. Вайнштейн*

В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

О классиках и современниках

- 177 **Г. САПГИР.** Полеты с Шагалом (Записки поэта)
- 186 **Е. РЕЙН.** Иосиф

ПУБЛИКАЦИИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СООБЩЕНИЯ

- 197 Документы свидетельствуют... Из фондов Центра хранения современной документации (ЦХСД): Вокруг творческого наследия Маяковского. *Публикация Л. Пушкаревой*
- 223 **Ю. БУРТИН.** Власть против литературы (60-е годы). *Публикация документов И. Брайнина и А. Петрова*
- 307 В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров *Вступительная статья и публикация В. Сапова*

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

- 347 **Вл. ОРЛОВ.** Иронические стихи
- 351 **В. БУРИЧ.** Фразы и парафразы
- 353 **Л. РОБЕЛЬ.** Стихи о творчестве. *Перевод с французского М. Павловой*
- 355 **К. ТУХОЛЬСКИЙ.** Господин Вендринер и другие. *Перевод с немецкого Е. Вербина*

МОЗАИКА

- 368 **А. ТВАРДОВСКИЙ.** Внутренние рецензии
- 375 **Ю. ГУСЕВ.** Четвертый «Евгений Онегин» по-венгерски

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Н. А. Анастасьев, Н. И. Балашов, Г. А. Белая, А. Г. Битов, А. Г. Бочаров, С. Г. Бочаров, М. Л. Гаспаров, Л. Д. Громова-Опульская, Ю. В. Давыдов, Н. А. Ефимова (США), А. М. Зверев, Ф. Ф. Кузнецов, Д. С. Лихачев, Ю. В. Мани, А. А. Михайлов, А. В. Михайлов, В. М. Озеров, Ю. М. Овсянников, Е. П. Чельшев, И. О. Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. И. Лазарев (главный редактор), **Т. А. Бек** (отдел современной литературы), **Т. И. Джалилова** (отдел публикаций), **Д. А. Ермаков** (отдел рецензий), **С. В. Ломинадзе** (зам. главного редактора), **Г. К. Львова** (зам. главного редактора), **В. С. Непомнящий** (отдел русской классической литературы), **А. В. Полетика** (отдел хроники), **О. А. Салынский** (отдел современной литературы), **К. Н. Трайлин** (Исполнительный директор Фонда «Литературная мысль»), **Л. М. Шарাপкова** (отдел зарубежной литературы), **Н. Н. Юргенева** (отдел русской классической литературы)

Евгений РЕЙН

ИОСИФ

В истории нашего знакомства есть прелесть старого анекдота, который теперь уже не годится, «не к масти». Но из жизни факта не выбросишь, из песни слова не выкинешь.

Это было так. Сейчас в Лондоне работает на Би-би-си наш общий приятель Ефим Славинский. Он долгое время кантовался в Ленинграде, кончал университет, был на каких-то временных работах, и его очередное жилье всегда превращалось в этакую богемную штаб-квартиру. Как-то он в Ново-Благодатном переулке (это за метро «Парк Победы», по тем временам почти окраина Ленинграда) снял большую трехкомнатную квартиру, где немедленно завелась и закипела полубогемная, полулитературная жизнь. Кажется, была осень 1959 года. Я только что кончил Технологический институт и уже занимал в ленинградской непечатающейся литературе свое положение: я к тому времени написал несколько поэм, одна из которых (она называлась «Артур Рембо») была на общем слуху.

Там же бывал человек, который теперь живет в Париже и занимается переплетным делом, — Леонид Ентин. Он в те времена был довольно близким приятелем Бродского. Он и сейчас известен на русском Западе под кличкой Енот. Когда я появился в Ново-Благодатном переулке, он ко мне подошел и сказал: «Слушай, ты должен сделать одно общественно полезное дело. У нас тут существует некий безумный

юноша, который сочиняет и никому не дает проходу со своими совершенно идиотскими стихами. Не мог бы ты ему внушить, что он должен все это раз и навсегда бросить? Давай я вас с ним познакомлю — он находится тут же». И через минуту он, сходя в соседнюю комнату, подвел ко мне юношу, который был залит густой свекольной краской от смущения и возбуждения, — такой свекольной краской покрываются именно рыжие. Бродский же в ту пору был ярко выраженным рыжим человеком, что потом отступило.

Я просто договорился с юношей, что он придет ко мне и почитает стихи. Мне было 24 года, ему — 19, а в том возрасте пятилетняя разница чрезвычайно существенна.

Спустя несколько дней он пришел ко мне, а жил я тогда на Красной улице (ныне Галерная), и стал читать стихи. Ничего общего со словами Ентина не было: это были совершенно не идиотские или ничтожные вирши, это были стихи, которые сейчас довольно-таки трудно определить. Молодой Бродский шел через большое количество всяких этапов: в то время он проходил, если можно так сказать условно, через этап журнала «Иностранная литература». Он начитался там Хикмета, Рибаса, Пабло Неруды и сочинял полусвободные стихи с космическими сравнениями, с явно заимствованными и в третьих зеркалах отраженными метафорами... Плохо переваренная «уитменовщина». Я стал ему что-то объяснять, хотя не думаю, что это было слишком разумным. Я и тогда не был крупным теоретиком.

Я в поэзии придерживался совсем иных принципов и стал говорить, что это все не русские дела, что поэзия должна быть звеном национальной культуры, национальной просодии, что у нас есть свой собственный звук, что должна быть и рифмовка, и ритмическая дисциплина. В общем, нес свою ахиною, упирая в основном на поэтов, которых я тогда больше всего любил: на Блока и Пастернака. Надо сказать, что тогда я любил также (да и до сих пор у меня с нею сложные отношения) поэзию конца 20-х годов: Багрицкого, Луговского, Тихонова.

Бродскому они тоже в какой-то момент не были чужды. Он вообще — Пикассо поэзии, который проходит через бесконечный ряд этапов, всех пережевывая и выходя вперед. Он пропускает через себя бесконечное число влияний, расшелушивает поэтов, как семечки, и продвигается дальше. Со мной же так не бывает: я включаю в себя поэта — и надолго остаюсь под его обаянием.

Итак, мы поговорили — и он понравился мне необычайно. И по-человечески, и с точки зрения одаренности, ко-

торая была столь велика и явственна, что эти тексты как бы еще с нею не соприкасались. Было видно, что он весь — впереди, что это еще пред-сказание, пред-чувствие.

Он ушел. Миновало, может быть, больше полугода, и раздался звонок. Он сказал, что приехал из геологической экспедиции. Пришел и стал читать совершенно другие стихи. По-моему — «Воротись на родину...», «Памяти Феди Добровольского». Это был уже настоящий ранний Бродский. Хорошо организованные стихи, с мучительно растянутой интонацией, — в них уже был празлемент того, что можно назвать поэзией Бродского. Все до единого эти стихи были талантливы. И я понял, что передо мной замечательно талантливый поэт!

Буквально с этого дня началась наша дружба.

Через недолгое время я обменялся и переезжал с семьей на улицу Рубинштейна (Троицкую) — он был моим единственным помощником, мы совершили этот переезд вдвоем. Как сейчас помню: внесли ящики, я открыл пару бутылок какого-то кислого вина... Он жил на углу Литейного и Пестеля (бывшей Пантелеймоновской) — это три остановки на троллейбусе или минут 10—15 пешком. Дальше мы стали видеться чуть ли не ежедневно, и я наблюдал, как он становился сам собой.

Но тут надо бы сказать об Ахматовой.

Я познакомился с нею, по сути дела, дважды. У меня была тетка Валерия Яковлевна Познанская, которая подружилась с Ахматовой во время войны, в ташкентской эвакуации... Начало 47-го года. Тетка приехала в Ленинград (а она была крупный химик, специалист по коксующемуся углю, в Ленинграде был филиал ее московского химического института), остановилась в гостинице «Астория» и устроила для Ахматовой нечто вроде приема. Я очень хорошо помню этот день. Валерия пригласила на прием мою маму, а та почему-то захватила меня с собой. Удивительно, что накануне мама дала мне в руки книги Ахматовой, хотя мне было всего двенадцать лет, — и эти книги у меня до сих пор сохранились. «Четки» и «Anno Domini», старые, довоенные, дореволюционные. Я помню гостиничный номер, зимний солнечный день, помню (сильная детская память), как выглядывал из окна на площадь. Это был, наверное, второй или третий этаж, потому что памятник Николаю I (Клудта), который стоит перед «Асторией», — как сейчас перед моим взором, перед моими глазами. Помню худую еще Ахматову (она располнела в самом конце 40-х, после инфаркта), как на рисунке Тышлера — в полный рост. Еще я

запомнил только чай и пирожные. Но интересно, что сама Ахматова, у которой была совершенно грандиозная память, как выяснилось потом, прекрасно помнила этот день и мать, которая пришла с маленьким сыном.

Много лет спустя, когда я кончил институт, я умозрительно сообразил, что Ахматова живет в Ленинграде. Подошел к киоску «Ленгорсправки», заполнил бланк, заплатил 10 копеек — через пятнадцать минут мне дали ее адрес. Улица Красной Конницы. И я тут же отправился к ней, ничуть не раздумывая. Улица находилась возле Смольного — между Таврическим садом (угловой дом — «башня» Вячеслава Иванова) и Суворовским проспектом. Дверь мне открыла другая женщина (потом оказалось, что это Хана Вульфовна Горенко, бывшая жена брата Ахматовой) и провела меня в ахматовскую комнату. Не помню никакого удивления со стороны Ахматовой. Она сидела на диванчике — не знаю даже, как назвать такую мебель: канапе? Не что узкое, неудобное, со спинкой, как скамейка.

Она меня подробно обо всем расспросила. Передала привет моей матушке и, конечно, догадалась, что я пишу стихи. Стала что-то рассказывать, а я задавал, как теперь понимаю, совершенно нелепые вопросы. К концу разговора она сказала мне, что получает новую квартиру на улице Ленина, но переезжать туда будет только осенью (а был май) — надо перевезти книги, ее очень заботит библиотека. Не возьмусь ли я, если у меня есть подходящий приятель, запаковать эти книги? Такой приятель был — тогда меня связывали тесные отношения с ныне живущим в Штатах поэтом Дмитрием Бобышевым. Рассказав все это ему, я дня через два привел туда Диму. По дороге мы купили мешки из крафт-бумаги, в которые тогда помещали на лето зимнюю одежду.

Мы провели с Ахматовой целый день. Вечером я сделал подробнейшую запись этой беседы, которую у меня потом кто-то взял и потерял... Целый день мы сидели и разбирали книги Ахматовой: их, впрочем, было немного. В основном разрозненные подаренные ей томики, многие из них с автографами. Запомнилось, как всегда, не самое главное. Например, надпись Алексея Толстого, которая меня просто поразила. Там было написано: «Анне Горенко-Гумилевой с верой в ее талант». И я вдруг понял, что она не всегда была Ахматовой. Еще поразила книга Пастернака, где автографом были заняты две или даже три страницы: все эпитеты — в неслыханно превосходных степенях. Все это нами было упаковано и через несколько дней перевезено в новый

дом, но так как ордера еще не было выписано, то мешки мы оставили в служебной подсобке.

Независимо и параллельно с Ахматовой познакомился Найман. А Бродского с Ахматовой познакомил я — он об этом подробно рассказал сам в известном интервью с Соломоном Волковым, полностью посвященном Ахматовой (впервые журнал «Континент»).

Бродский сознается, что когда я решил повезти его к Ахматовой, то сам он не очень-то понимал, куда я его везу. Он тогда еще ее стихов не читал, и ему за этим именем виделся лишь некий смутный смысл. Поскольку все-таки совсем без предупреждения явиться было невозможно, то я через людей, которые постоянно курсировали между Комаровской дачей и Ленинградом, передал Ахматовой известие, что я с товарищем к ней приеду. Помню, что это было воскресенье. Мы приехали, пришли в ее «будку», а у нее сидела компания иностранцев. Она попросила нас погулять.

Бродский приехал с фотоаппаратом — он был профессиональным фотографом и до сих пор таковым является. (Отец его был знаменитым фотокорреспондентом. С родителями Бродского меня связывали многолетние трогательные отношения, я невероятно их любил: и Марию Моисеевну, и Александра Ивановича. И у них ко мне было совершенно родительское, особое отношение.)

Но вернемся к Ахматовой. Мы часа два погуляли по Комарову, ходили купаться на Щучье озеро. Иосиф все время снимал меня, а я снимал Иосифа. Многие из фотографий того дня остались. К сожалению, на них нет Ахматовой. Может быть, она не позволила снимать себя? Она относилась к фотографированию опасно и ревниво. Либо с этими фотографиями что-то случилось? Но помню, что мы оба читали стихи, и смутно помню, как Ахматова рассуждала о том, что такое «герметизм», что такое стихи с закрытым смыслом, который не поддается немедленной расшифровке. Даже точно помню одну ее фразу. Она сказала: «Знаете, это несущественно — понятно или непонятно, — важно, чтобы сам поэт что-нибудь имел в виду».

Однажды я уже пытался восстановить, когда же именно это было, и вдруг припомнил следующую деталь. Когда мы ехали, на всем протяжении дороги были включены репродукторы и передавали репортаж из космоса. Это был день, когда в космос запустили Германа Титова. 7 августа 1961 года.

А потом — кажется, уже в 62-м — было вот что. В Комарове, в академическом поселке, была прекрасная дача про-

фессора-генетика Раисы Львовны Берг. Дача пустовала, потому что Раиса Львовна руководила институтом в Новосибирске. И она поселила там несколько человек, в том числе и Иосифа. В одну из комнат наезжал я. В первом этаже жил наш друг художник Яша Винковецкий, который потом в эмиграции покончил с собой.

Тогда у Иосифа был роман с Мариной Басмановой — адресатом его любовной лирики. У него есть замечательный цикл, который называется «Песни счастливой зимы», — это именно та зима на той комаровской даче. А осенью, до холодов, когда Ахматова еще жила в «будке», а Иосиф — в академическом поселке на даче (минут двадцать ходьбы или несколько минут на велосипеде, который у Иосифа был), они встречались очень часто, едва ли не ежедневно...

В нашей четверке — Бродский, Бобышев, Найман и я — мы с Иосифом, как я думаю, представляли творчески наиболее близкую пару. Наша разница была в то время еще неотчетлива, потому что мы оба были молодыми и не нашедшими своей окончательной стилистики людьми.

Поэтическая география тогдашнего Ленинграда была довольно-таки пестра. Город был плотно заселенным заповедником поэтов с очень большим «коэффициентом полезного действия»: многие имена потом появились в печати. С ходу могу назвать десятка полтора фамилий. Кушнер, Горбовский, Британишский, Городницкий, ныне покойный Леонид Агеев, Елена Кумпан, Нина Королева, писавший тогда стихи, ныне покойный, замечательный кинорежиссер Илья Авербах (он был членом именно нашего поэтического кружка), Яков Гордин...

Наиболее влиятельным литобъединением, магнетическим центром был кружок, который вел покойный Глеб Сергеевич Семенов, — они собирались при Горном институте, и называли их поэтами «лейб-гвардии Семеновского полка». Был еще кружок поэтов при Ленинградском университете, к которым мы находились в явной оппозиции, поскольку это были люди слишком привязанные к официальной советской литературе, которые уже или издали книгу, или к первой книге готовились. Была рядом с нами очень интересная компания поэтов, которые ориентировались на самый «левый» (о ту пору!) край русской поэзии: занимались Хлебниковым, знали Заболоцкого и прочих обэриутов... Правда, все это «чуть-чуть», поскольку тексты тогда были еще полуизвестны. Лев Лосев, ныне живущий в США, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин. Они были на-

ши самые близкие друзья. Вместе с ними мы как бы противостояли группе Глеба Семенова — «народолюбцам», которые все пытались понять, чего же хочет время и широкая публика от поэзии.

Иосиф посещал почти все кружки, но практически не прижился ни в одном. Он был «как незаконная комета среди расчисленных светил». В отличие от нас Иосиф смотрел на дело тоньше и яснее. Его гораздо менее интересовали наивные и полудетские манифесты, а интересовали его личности. Так, например, он одно время был увлечен действительно поначалу талантливой и особенной поэзией Глеба Горбовского.

Шло время — и наши отношения закреплялись, вскоре мы представляли собой очерченную группочку: четверо нас, в известном смысле Илья Авербах и замечательный, на мой взгляд, малоизвестный и не вполне реализованный прозаик Сергей Вольф (он перекроил свою судьбу, а ведь всегда писал стихи). Руководителя у нас не было, а «правифланговым» был я — в силу своего тогдашнего темперамента и обилия теоретических фантазий.

Это был сплошной уходящий в прострацию разговор о том, что мы должны связать времена и взять на вооружение поэзию, условно говоря, 30-го года, когда — как мне казалось — произошло слияние разных тенденций русского серебряного века. Символизм, акмеизм и футуризм соединились в одно — в поэзию советского цветения, когда одновременно «процвели» Пастернак и Мандельштам и, с другой стороны, конструктивисты Багрицкий, Сельвинский, Луговской. А в Ленинграде возникла и давала замечательные плоды группа Заболоцкого, Хармса, Введенского. Интересны были и младшие поэты — Адалис... Гитович... Все, что произошло дальше, в 30-е годы, казалось мне невероятным падением и уничтожением. Попытка примкнуть к поэзии 30-го года и была исходной точкой моих теорий, хотя теперь-то мне ясно, что вся эта поэзия была крайне неоднородной и неполной. Кроме того, моя теория не учитывала разницы между Пастернаком и Мандельштамом — и людьми, которые являлись воплощением советизма при всей своей талантливости. Мне же тогда поэзия 30-го года казалась некоей общей почвой, на которую следовало бросить наши семена.

Иосифа на коротком этапе и эта теория пленила, — помню, как он очаровывался даже ранним Тихоновым, — но его гнал вперед собственный дар. Он — в отличие от меня — уже тогда понимал, что страшное сталинское время остави-

ло уродливые отметины и залысины на таких поэтах, как Тихонов, Луговской, Сельвинский. Я думаю, что он уже тогда ощущал, что Мандельштам, Пастернак, Цветаева, несмотря на их некоторую внешнюю схожесть с советскими поэтами 30-го года, — совершенно другие личности, вышедшие из другой культуры. Они, главное, хотели другое сказать. А вся поэзия около 30-го года помечена известным четверостишием Багрицкого из «ТВС»: «Но если он скажет: «Солги», — солги. Но если он скажет: «Убей», — убей».

Самой замечательной фигурой в раннем формировании Бродского была Цветаева. Я, кстати, прекрасно помню, как это началось. В Ленинграде и сейчас живет мой старинный приятель Борис Понизовский. 7 января 1960 года мы к нему пришли — Иосиф, я, еще несколько человек. А кто-то из Москвы привез Понизовскому поэмы Цветаевой, которых мы тогда не знали: «Крысолов», «Поэма горы» и «Поэма конца». В течение долгого вечера мы их читали вслух с листа. И вдруг я заметил, что Иосиф совсем перемагнитился, переменялся — он выхватывал эти листы и все время пытался читать сам. Потом он на время выпросил эти вещи у Понизовского и вскоре стал сочинять свою главную юношескую поэму «Шествие», которая — совершенно цветаевская. Тогда-то в его стихи перешло цветаевское длинное-длинное дыхание, enjambement'ы, водопадная масса слов, — я уверен, что в молодости Цветаева была главным поэтом Иосифа, это лежит в подоснове, на дне всей его поэтики, куда он потом постоянно наматывал новые и новые слои...

С Ахматовой же Иосифа связывала личная дружба и общие нравственно-человеческие установки. У нее было очень широкое восприятие, и она ясно понимала, что главное в поэте — его личность и объем души. И еще она чувствовала будущее, чувствовала судьбу. Это же она о Бродском написала в 1962 году:

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

Я тоже — не в деталях, но почти наверняка и ясно — знал будущее Иосифа: над ним всегда как бы простиралось облако его судьбы. Он ярчайший образец того рода людей, у кого она есть. И он всегда сам шел ей навстречу, отвергая всякие увертки. Его тянула и вела сила, от которой он не пытался увильнуть. Ни увильнуть, ни избежать, ни предре-

шить. Ему были суждены огромное пространство и огромный разгон.

А он ведь мог, пожалуй, уйти от ленинградских несчастий, суда, ссылки. Приехал в Москву, лег в больницу. Но — отверг это и решил ехать в Ленинград. Я сам посадил его на поезд. И здесь была не просто интуиция — он рационально, интеллектуально, нравственно понимал, что нельзя (и не надо) избегать своей судьбы. Иначе она тоже может отвернуться. Контрапункт, который ведет его по жизни, — в сочетании могучей интуиции и мощного интеллекта.

Накануне отъезда из СССР Иосиф провел недели две в Москве (куда я в 1971 году переехал) — по разным обстоятельствам. Я жил тогда на Зубовской площади, и мы встречались с ним ежедневно. Я его сопровождал по всем его делам...

Потом мы не виделись шестнадцать лет. Он много и часто писал мне. Звонил — раз в два месяца примерно. Правда, в 80-е годы эта пауза стала растягиваться.

Я очень люблю первые пять-шесть лет его эмигрантской поэзии. Думаю, что именно тогда он сделал свой основной рывок. «Лагуна»... «Часть речи»... «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»... Любовная лирика... Итальянские стихи... В этих стихотворениях — свод трагического лиризма, не созерцательного, а действенно-личностного. В сочетании с его выдающейся техникой и с тем сплавом новаторства и архаизма, который является личной метой его поэтики, этот лиризм и породил гениальные стихи. Дальнейшие стихи тоже замечательны, но в них решительно введен рациональный элемент — иногда на грани компьютерной техники. Я знаю, что это начало он усиливает сознательно. Однажды, уже в Америке, он мне сказал, что с годами стал склоняться к тому, что поэзия должна быть бесцветной, что она должна набегать, как бесцветные волны времени, что в поэзии ему претит «разрыв на себе рубахи». Он пережил и разлюбил в самом себе этап личного надрыва, наступила пора отстраненной переработки потока времени, который в его случае непомерно велик.

Когда-то Иосиф говорил, что все дело в масштабе, в величии замысла, и так как его личная судьба была уже в основном выписана (а он представляет собою совершенный лирический аппарат, которому постоянно нужно перемазывать некую поэтическую материю), то он запустил в ход новый этап, остыв к предыдущему. Он перешел к иной — гораздо более рациональной — эстетике. Меня восхищают и эти стихи, но задевают и трогают больше — прежние.

Виртуозности в более поздних стихах: в «Бабочке», «Кентаврах», «Назидании» — больше. Она здесь и нужна больше, чтобы свести концы с концами, тогда как в тех стихах они сводились сами, их сводило само бытие. И именно бытие обожествляло их, потому что другой божественности, кроме божественности бытия, в поэзии быть не может.

А в 1989 году я впервые прилетел в Нью-Йорк, в аэропорт Кеннеди. Получив чемодан и наконец отметив паспорт, я пошел по долгому коридору в зал ожидания и обвел толпу взглядом. Иосифа не увидел. Был удивлен и растерян, понятия не имея, как и куда мне теперь добираться. Все-таки побрел вперед. И вдруг услышал голос: «Женька, ну куда ты глядишь?» Я поднял глаза и увидел Иосифа, который показался мне невероятно переменившимся. Передо мной стоял другой, сильно переменившийся человек. (Видимо, и я в его глазах был не менее постаревшим.) Встретились: «полтора на два» — тридцать лет разлуки. Но дальше стало происходить нечто замечательно милое и вовсе не загадочное: с каждой минутой шел обратный отсчет времени, и буквально через час передо мной был совершенно прежний Иосиф, с утрированно прежними словечками и привычками!

Он привез меня к себе домой. В Нью-Йорке было жарко: 18 сентября. Слава Богу, я захватил какую-то легкую одежду, переоделся, и он меня сразу повел в ресторан, где нас ждал Барышников. Море огней, толпа, японский рестораник. И ко мне — после первого бокала — пришло такое двустишие:

О Евгений! Бедный Йорик.
Поздно ты попал в Нью-Йорик.

А потом я поселился в том же доме на Мортон-стрит, где живет Иосиф. Там случайно оказалась пустая квартира, в которой я и прожил месяц. Иосиф худел, проводя замечательную политику сбрасывания веса, которая состояла в том, что он до самого вечера не ел. Утром варил литровую чашку кофе страшной крепости и весь день жил этой чашкой. Я же начал от такой жизни умирать, побежал в соседнюю лавочку, купил сосисок и стал их по утрам варить. А Иосиф их у меня из рук выхватывал и поедал. Надо было каждый раз варить минимум десяток, чтобы что-то досталось и мне.

Там — на Мортон-стрит, 44 — квартира Иосифа представляла собою в ту пору (он еще не женился на Марии) нищее и очаровательное зрелище: две малюсенькие, при-

близительно равные, метров по 12—13 комнаты, одна из которых выходила в садик, образованный стенами соседних домов. В нем росло какое-то китайское плющеобразное дерево, которое расползлось по стенам, и жила белка. Мебель плетеная, дачная. В жаркие дни там было прохладно. Я сидел за столом, готовился писать сценарий об Иосифе, который потом не состоялся, потому что у студии не нашлось денег, и записывал на пленки наши с ним разговоры... Еще был кот.

В ноябре 91-го я был в Америке снова. Иосиф пришел меня и моих спутников проводить в дом, где я жил, часа за полтора до отъезда. Фотографировались. Долго стояли у дома, пока в машину грузили наши вещи. Он был очень трогателен и сердечен и в последнюю минуту сказал, чтобы я никогда не забывал, что он у меня есть.
